

Роман Ганжа

АНДЕРСОН И ПУСТОТА

Перри Андерсон. Переходы от античности к феодализму. —
М.: Издательский дом «Территория будущего», 2007. — 288 с.

Чем отличается истмат Перри Андерсона от советского истмата семидесятых? Прежде всего — использованием особой риторики, в стиле-вом отношении несколько чуждой привычным рассуждениям о «силах» и «отношениях». Ключевые топосы этой риторики группируются вокруг таких понятий, как форма и элемент. Воображение читателя «классического» учебника по истмату оплодотворяется натуралистической образностью — стихийный рост, питательная среда, почва, производительная сила, наследование приобретенных свойств, мутация, гибридизация, естественное развитие, своевременное созревание, прорастание нового из старого, окостенение, загнивание, выжимание соков, обескровливание, удушье, отравление, разложение, распад, но также и борьба, столкновение больших масс, сплющивание, давка, соединение сил (способное дать как удвоенную силу, так и нулевую), деформация, напряжение, сопротивление, трение пластов, размывание фундамента, взрыв, расщепление, расплавление, растворение, кристаллизация, оседание, окаменение. Эти образы складываются в общую картину фатального и неконтролируемого движения, законы которого напоминают алхимические формулы — чтобы их прочесть, необходимо допустить некий дополнительный x , неназываемый секретный ингредиент, отвечающий за трансмутацию «общественных отношений» в направлении соответствия наличному уровню «производительных сил». Напротив, для того, чтобы испытывать удовольствие от текста Андерсона, необходимо поддаться очарованию прозрачной логической игры, многомерной головоломки, допускающей неограниченное число вариантов прохождения «уровней» при сохранении жесткой комбинаторной необходимости. Если «вульгарный» истмат допускает, что из A и B может вырасти C , то в объяснительной схеме Андерсона из A и B может получиться только AxB , где x — это не дополнительный элемент, но определенный способ сочетания известных элементов.

Андерсон с самого начала выводит проблематизируемый в книге переход от античности к феодализму из непроницаемой глубины живущей по своим

«законам» исторической субстанции на поверхность элементарной комбинаторики: «Начало феодальному синтезу... дала именно *рекомбинация* разных элементов» (с. 19). Это, во-первых, позволяет ему говорить во множественном числе о *переходах* от античности к феодализму как о различных комбинаторных последовательностях и, во-вторых, препятствует фантазматическому погружению читателя в темную толщу межформационных отложений, сообщая таким словам, как «генезис», «крах», «гибридный», «расширение», «деформация», «распад» или «взаимопроникновение», статус комбинаторных операторов. Первый пример *комбинаторного* описания мы обнаруживаем буквально на следующей странице — рассуждая о *сельском* характере античной экономики, Андерсон замечает, что «производство в эпоху античности развивалось не благодаря росту концентрации, как в более поздние эпохи, а благодаря рассредоточению и рассеянию» (с. 20–21), — таким образом, *прочность, сложность* и *долговременное воздействие* греческого полиса обусловлены характером включения данного элемента в «общественную формацию», а именно тем, что полис *не являлся* местом концентрированного комбинаторного синтеза различных форм человеческой деятельности, представляя собой *предел* рассеяния материальных составляющих греческого мира. *Маргинальный* статус полиса в материальном субстрате античного способа производства обеспечил его *максимальную сочетаемость* с другими «несвязанными» элементами в рамках исторически далеких формаций.

Сущностно *прибрежный, экстерриториальный* статус ключевого элемента греческой формы сказался на характере сочетания различных способов производства в рамках этой формы, а именно на *преобладании* одного из этих способов — рабовладения. В соответствии с комбинаторной логикой свобода одного элемента достигается за счет несвободы других — античное рабство «...больше не было одной из многих форм относительной зависимости в последовательном континууме этих форм, а представляло собой состояние полной утраты свободы, которое существовало одновременно с новой и безграничной свободой. Ибо именно формирование четко определенного рабского населения подняло население греческих городов на неведомые доселе высоты сознательной юридической свободы» (с. 24–25). *Аномальное* положение полиса не просто в стороне от производства, но как места структурного *непроизводства* — вплоть до легитимации *непроизводительного* секса — накладывает непреодолимые ограничения на античные производительные силы. Полисное преодоление *укорененности в материальном* требует предельно негибкой, застойной экономики, пределы развития которой определяют географическими границами колониальной экспансии.

Способ соединения элементов в эллинистических общественных формациях характеризуется Андерсоном как «произвольный», «синкретичный», «импровизационный», «бесформенный» и «случайный». «Эллинистические империи, эклектично сочетавшие греческие и восточные формы, расширили пространство городской цивилизации классической древности, выхолостив ее содержание, но при этом они не смогли преодолеть ее внутренние ограничения» (с. 52). Можно предположить, что в таких *аморфных* формаци-

ях—если слово «формация» здесь уместно—вообще отсутствует внутренняя связь элементов, предполагающая взаимные структурные воздействия. Там, где имеет место подобное *общество без структуры*, Андерсон предпочитает говорить о «регионах» и «региональной экологии». Пространства «регионов» не в полной мере принадлежат историческому миру, формируемому «динамикой форм» и *синтетическим* смешением элементов.

Римская общественная формация сложилась в результате *изменения и смягчения* «первоначальной структуры», которая в «прямой и простой форме» воплощала политическое господство традиционной аристократии. Новые элементы—трибунат и собрание триб—послужили *внешним дополнением* к «олигархическому комплексу власти», так и не реализовав свой «формальный потенциал». В результате определяющими элементами римской формы стали крупное олигархическое землевладение и пассивный потребляющий городской *пролетариат*. Если греческий полис «сохранял гражданское единство, укорененное в сельской собственности на его непосредственной территории» и «именно поэтому... был территориально негибким—неспособным к расширению без утраты идентичности» (с. 59), то римское гражданство было *пустой формой*, без труда распространенной на олигархическую верхушку крупных городов будущей империи. Если свобода и высокая валентность полиса в сфере *нематериального* были достигнуты ценой жесткой пространственной фиксации материальных элементов греческой формации, то способность Рима к политической интеграции и гораздо более успешной внешней пространственной экспансии обусловлена отсутствием внутреннего свободного пространства для гражданского синтеза.

Это также означает, что «...основные новшества римской экспансии в конечном счете были экономическими—это было введение крупных рабовладельческих латифундий, которые никогда прежде не существовали в античную эпоху. <...> Впечатляющих военных показателей можно было достичь, только если гражданская экономика поддерживалась за счет труда рабов, высвобождающего... человеческие ресурсы для армий республики» (с. 60–61). «Связанный», статический характер римской гражданской формы—равно как и *нулевой комбинаторный потенциал* рабовладельческого способа производства—высвободил колоссальную энергию динамического освоения огромных континентальных пространств, не имевших предшествовавшей городской цивилизации. Структурная бесперспективность формирования автономной «публичной сферы» послужила *комбинаторной предпосылкой* стремительного развития гражданского права, *jus Quiritium*, главным достижением которого было изобретение понятия «*неограниченной частной собственности*». Это сочетание элементов определило также и *динамику перехода* от республиканской к имперской формации—в сторону *ограничения* политических притязаний класса крупных земельных собственников.

Прекращение внешней экспансии и, следовательно, притока рабов обнажило «противоречия производственной базы» империи: «Рабовладельческий способ производства античности не обладал естественным внут-

ренным механизмом самовоспроизводства, потому что его рабочую силу невозможно было гомеостатически стабилизировать в рамках системы» (с. 77). Иными словами, связь между элементами римской формации оказалась слишком *жесткой* и *непосредственной* — структурная избыточность элемента А (экспансия) неизменно *восполняла* структурную нехватку элемента В (рабы), так что стабилизация первого элемента (заккрытие границ) привела к дисфункции второго. Комплекс АхВ, в свою очередь, поддерживал стабильность «надстройки», и деградация этого комплекса привела к *перегрузженности* надстроечных структур — раздуванию светской и церковной бюрократии, увеличению армии и в целом «расширению влияния государства» в позднем римском обществе. Если на Востоке римская форма *поглощалась* сложившейся региональной «экологией», то на Западе ее внутренние противоречия «не смягчались и не сдерживались какими-либо предшествующими или альтернативными историческими формами. Там, где среда была наиболее чистой, симптомы были наиболее острыми» (с. 99). Жесткая структура, взаимодействия внутри которой не гасятся аморфной материей «исторического наследия», *быстрее* реализует свой комбинаторный потенциал, *отчетливее* обнаруживает собственные противоречия и пределы, *стремительнее* приходит к катастрофическому финалу. Напротив, бесструктурные, *энтропийные* общественные образования способны пребывать в состоянии равновесия неограниченно долго — их элементы слишком разнородны, а взаимодействия между ними слишком сложны и неформализуемы для возникновения устойчивого и прозрачного порядка внутренних детерминаций, когда изменение одного «узла» неизбежно приводит к болезненной перестройке всей системы.

Первые варварские государства, созданные на «обломках» римской империи, характеризуются «систематическим институциональным дуализмом» — они «во многом опирались на ранее существовавшие имперские структуры, которые парадоксальным образом сохранялись всякий раз, когда существовала возможность их сочетания с германскими аналогами» (с. 112). Речь пока не идет о *трансформации*, но лишь о разрушении прежних связей, высвобождении прежде связанных элементов и неконструктивном *подражании*. Новый синтез начался «постепенно» и был «медленным» — романские и германские ингредиенты далеко не сразу сложились в «новый цельный способ производства». Преодоление «шаткого дуализма» первым делом привело к «грубому смешению», результаты которого оставались «неоформленными» и «разнородными». Возникает вопрос: прочему римское завоевание эллинистического мира так и не увенчалось *подлинным синтезом*, а варварское завоевание римского мира — все-таки в итоге *увенчалось*? Андерсон не дает на этот счет *прямых* указаний, однако читательское воображение, погруженное в подобный сновидению поток образов, восстанавливает *полную* картину. Дело в том, что перенос римской формы в ближневосточный контекст оказался неэффективен в силу того, что контекст этот представлял собой грандиозную *свалку парциальных объектов* — обломки древних деспотий, ошметки архаичных законодательных систем, вкрапления крестьянских и ремеслен-

ных корпораций, фрагменты традиционных религий. Этот густой, не поддающийся никакому упорядочению шум заглушал любой внятный имперский сигнал. Эта слишком плотная, слишком пестрая фактура оказывала неизменное и непреодолимое сопротивление любым структурным преобразованиям. — Напротив, в момент перехода западной Европы к феодализму, во-первых, все узловые элементы старых формаций оказались *высвобожденными* — так что в пространстве их смешения не оказалось никакой инертной массы, способной ему воспрепятствовать, и, во-вторых, смешались они в конечном итоге таким образом, что основу прочности новой синтетической конструкции составили «пустоты». Если римская форма была *непрерывной* и *гомогенной*, а способ связи ее элементов — *однозначным* и *непосредственным*, то составляющие новой формации взаимодействовали *сложным*, *вариативным* и *опосредованным* образом, причем средой, в которой осуществлялось опосредование, была не готовая «региональная экология», а, так сказать, зона системной бифуркации и самосозидания.

Итак, Андерсон обращается к *пустоте*. Он пишет, что из конститутивной для всего феодального способа производства «парцелляции суверенитета» следует, во-первых, то, что «...сохранение общинных деревенских земель и крестьянских аллодов от дофеодальных способов производства, хотя и не порождалось самим феодализмом, было вполне с ним совместимо. Феодальное разделение суверенитета на обособленные зоны с пересекавшимися границами при отсутствии общезначимого центра юрисдикции всегда позволяло существовать в образующихся пустотах разнообразным „аллогенным“ корпорациям. <...> Таким образом, крестьянский класс, у которого в этой системе изымались излишки, обитал в социальном мире пересекающихся притязаний и властей, где само многообразие „инстанций“ эксплуатации создавало скрытые пустоты и несообразности, невозможные при более единой правовой и экономической системе» (с. 144–146). Именно «пустоты» и «несообразности» сообщили феодальной формации динамизм, открытость и гибкость, невозможные в дофеодальном мире.

Во-вторых, «феодальная парцелляция суверенитета в Западной Европе породила феномен средневекового города. <...> Динамическое противостояние города и деревни было возможно только при феодальном способе производства» (с. 146–147). Если «идеальная» полисная свобода обусловлена жесткой фиксацией «реальных» связей материального субстрата города и внеположного ему сельского окружения, если духовная пустыня Рима — этого первого в истории *пролетарского гетто* — порождает литературный блеск загородной виллы сенатора и превращает «прелести деревенской жизни» в достояние аристократии, то *реальная автономия* средневековой городской коммуны рождается в структурном разрыве прямой обоюдной детерминации города и деревни, в возникновении «пустого» пространства алеаторных взаимосвязей и полиморфных взаимодействий.

В-третьих, «имела место определенная двусмысленность и неустойчивость на вершине всей иерархии феодальных зависимостей. <...> Феодализм раздирало противоречие между имманентной ему тенденцией к раз-

ложению суверенитета и острой потребностью в верховной власти, которая могла бы практически восстановить этот суверенитет. Поэтому феодальная монархия никогда не сводилась к королевскому суверенитету: она всегда существовала в какой-то степени в идеологической и юридической области по ту сторону вассальных отношений... Действительной королевской власти всегда приходилось утверждаться и распространяться вопреки стихийному сопротивлению феодального политического устройства в постоянной борьбе за установление „публичной“ власти за пределами компактной сети частных юрисдикций» (с. 147–148). Мы видим, что вершина феодальной «пирамиды» не является просто «точкой сборки» вертикальных элементов конструкции — ведь в этом случае вся конструкция приобрела бы чуждую феодализму *завершенность* и *прозрачность*. Ключевой элемент структуры находится *по ту сторону* комплекса связей, стремящегося к замыканию горизонта допустимых в его рамках системных событий — в пространстве *политической свободы*. Таким образом, не только средневековые самоуправляемые города функционировали в качестве инстанции автономного действия и политического конструирования реальности — не меньшая заслуга в деле высвобождения *комбинаторного потенциала* феодальной формации принадлежит институту королевской власти.

Обращаясь к типологии общественных формаций средневековой Европы, Андерсон подчеркивает, что в «чистом виде» феодализм никогда не существовал и, вероятно, *не мог* существовать — сущностной чертой феодализма является то, что любая его конкретная форма представляет собой *отклонение* от «нормы», *вариацию* «исходного» тематического потенциала. Например, средневековая Англия сложилась как «феодальное государство с незначительной субинфеодацией и высокой степенью административной гибкости и единства» (с. 157), а вот в домусульманской Испании успели возникнуть «только самые туманные комбинации германских и романских элементов» (с. 164), да и в процессе Реконкисты появились «широкие» и «неустойчивые» общественные формации, «обособленные элементы» которых далеко не сразу сформировали «единую феодальную систему» и длительное время представляли собой «аномальный комплекс институтов». И разве мы не вправе говорить о *европейском синтезе* средневековых общественных формаций в сущностно *пустом* пространстве феодализма — «идеального» общественного устройства *по ту сторону* «реального» многообразия форм и укладов?

В таком случае Восточная Европа оказывается в стороне от *европейского синтеза* — «основной чертой всей равнинной зоны, простирающейся от Эльбы до Дона, является постоянное *отсутствие* этого особого западного синтеза. <...> За пределами франкских *limes* не произошло никакого структурного сплава различных исторических форм, сопоставимого с тем, что имел место на Западе» (с. 206). «Ранняя история западного феодализма — это история синтеза между разлагавшимися первобытнообщинным и рабовладельческим способами производства, общественными формациями, в центре которых находились поля и города. Ранняя история восточного фео-

дализма — это, в каком-то смысле, история отсутствия всякой возможности синтеза между оседлыми земледельческими и грабительскими скотоводческими обществами, способами производства полей и степей» (с. 210–211). Способ соединения элементов кочевого скотоводства и элементов оседлого сельского хозяйства — не более чем «шаткий симбиоз», но никак не «синтез».

Можно предположить, что на востоке Европы сложилась особая «региональная экология», аморфная свалка комплекствующих, погасившая необузданную пассионарную энергию азиатских кочевых племен. Хрупкая, воздушная, состоящая из пустот, *готическая* архитектура западного мира и — сразу за Эльбой — рыхлая, бесформенная, тяжеловесная, какая-то земляная, душная *осыть* мира восточного. Так, «непрочный русский синтез» византийских и славянских элементов был не только *непрочным*, но и *беспочвенным* — «Киев и Византия не имели общей территориальной основы, которая могла бы служить почвой для действительного сплава» (с. 228). — Ранний русский мир отличался *разнородностью, аморфностью*, его составляющие не сочетались достаточно *органично*. С другой стороны, в ходе «постепенного переустройства русской общественной формации на северо-востоке» крестьяне оказались в более выгодном положении, чем их западные современники — правда, ненадолго. В целом восточный феодализм представлял собой запаздывающую *проекцию* феодализма западного. На Востоке, конечно, тоже имелись свои «пустоты», — главным образом территориальные, — но они так и не стали алеаторной основой «лаборатории форм», как это случилось на Западе. Топорный восточный псевдосинтез увенчался учреждением крайне *жесткой* структуры, из которой были искусственно исключены некоторые «европейские» элементы — например, такие важные носители *вариативности* и *комбинаторной энергии*, как города. Сами города, конечно, никуда не исчезли, но «городская жизнь» в них была надолго подавлена.

Сходным образом Андерсон характеризует византийскую общественную формацию — «Поздневизантийские феодальные формы были результатом многовекового *разложения* единого имперского государства, которое просуществовало почти неизменным на протяжении семи столетий. Иными словами, они были продуктом процесса, диаметрально противоположного тому, который привел к рождению западного феодализма, — динамичному *сложению* двух прежних распавшихся способов производства в новом синтезе, который высвободил производительные силы в невиданном доселе масштабе» (с. 275).

Европа родилась однажды в освежающей пустоте и синтетической стерильности постимперской «лаборатории форм» — в то время как аморфные агломерации ее восточного приграничья продолжали и до сих пор продолжают медленно разлагаться, превращаясь в пустынные кладбища обломков былых империй.